

Максим Осипов

## Дети Джанкоя

документальная повесть

Посвящается городу N.

### 1.

Новейшая история началась так: рано утром на «Волге», в каких возят чиновников средней руки, в больницу города N. приехали люди из области, попросили скинуться на детей Джанкоя — кто сколько даст. Джанкой — городок на севере Крымского полуострова, крупная железнодорожная станция, многие проезжали его в советские времена. Сколько их, этих детей, что им нужно, приехавшие сообщить не могли, ясно лишь было, что деньги, если куда и дойдут, то не в виде измятых рублей, а, к примеру, мощеных плиткой дорожек или роскошного памятника, вроде того, что недавно воздвигли в больничном дворе — фатоватого вида статский советник и, золотом, по дореформенной орфографии: «Величіе, слава и польза Отечества суть главнѣйшіе предметы ученаго, дѣятельнаго и опытнаго Врача». Этого странного дядю привезли сюда вместо лекарств, катетеров, перевязочных материалов, вместо зарплат санитаркам, которых было и вовсе велено сократить: хитрый способ улучшить статистику, повысить средний доход медработников, уволив самых бедных из них. Тогда, на открытии, чуть не вышел скандал.

— Государство все вам дало, — сказала начальство обиженно.

— Да? Что же именно? Вот этого чудака?

— Электричество. — И, после паузы: — Отопление. Воду дало.

«Может, скинемся на детей Калифорнии? — их же мы не присоединили к себе», — шутка не встретила одобрения ни у приехавших, ни у врачей. Надо так надо — собрали больше пятнадцати тысяч.

Вечером пришло в голову — образ, метафора: «Как будто инфаркт, больной лежит, прицепленный к монитору, и слушает, как бьется сердце, надеясь в однообразном писке что-нибудь распознать. В голове только мысли о несделанных бытовых вещах и физическом благополучии близких. Ни читать, ни слушать любимую музыку невозможно — не оттого что болит, а оттого что книги, музыка принадлежат прошлому, а настоящего как бы нет. Есть только писк монито-

**Об авторе** | Максим Осипов — автор пяти сборников прозы, лауреат нескольких литературных премий, его рассказы, повести и пьесы переведены на четырнадцать языков. Со времени публикации первых очерков о работе провинциальным врачом («В родном краю», 2007, № 5, «Грех жаловаться», 2007, № 12), Осипов — постоянный автор «Знамени». Публикуемая повесть «Дети Джанкоя», являясь самостоятельным произведением, сохраняет интонационную связь с его ранними очерками. Сайт автора в Интернете — [maxim-osipov.ru](http://maxim-osipov.ru).

ра, соседи, тоже растерянные, и понимание, что жизнь, вероятно, продолжится, но будет другой. Какой?»

С той поры что-то новое стало присутствовать в повседневности, важное и печальное: как смерть отца, как болезнь матери — в тот год пришлось забрать ее из Москвы, поближе к больнице, к себе, насовсем. Как неотменимое знание о людях, среди которых живешь.

На крымских детей собирали в марте четырнадцатого. Яркие положительные эмоции — «Граждане, подставляйте сердца!» и т. п. — испытаны прежде, в иную эпоху, но продолжают поддерживать здешнее существование, как всякое настоящее чувство, пускай и не слишком трезвое. С начала работы в городе N. незаметно, исподволь прошло десять лет — срок, за который меняется многое.

N. — старый, на столетие младше Москвы, маленький, но все-таки город: больница, две общеобразовательные школы, два кладбища, два православных храма, отделение полиции, прокуратура, суд. Библиотеки — детская, усилиями благотворителей переживающая подъем, и взрослая, умирающая (ни «Иностранной литературы», ни «Знамени» — библиотечный фонд пополняют систематически только два местных антисемита, члена Союза писателей), музыкальная школа (баян и ф-но), ПТУ (колледж по-новому), Школа искусств, Дом детского творчества (выставлен городом на торги), грандиозный Дом литераторов (концерты, мозаика, литературные вечера), Центр занятости (неизменно пустой), два светофора, аптеки, несколько домов отдыха, пристань, двадцатипятиметровый бассейн, до недавнего времени — боулинг (он прогорел), ночной клуб «Зазеркалье» (простор для фантазии: Алисы — черная, рыжая, лысая, Шляпник, Кролик, Шалтай-Болтай, но и тут дефицит посетителей), ЗАГС, картинная галерея, администрация — районная и городская, фонтан, памятник Ленину на площади Ленина, дающей начало улице Ленина, а вот соответствующего проспекта нет, проспект один — Пушкина. Редакция местной газеты «Октябрь»: в ней печатаются сообщения обо всех умерших, поэтому врачи и читают ее. Дали, овраги, леса тоже, конечно, присутствуют. Из водоемов — река, судоходная, весной работает земснаряд, углубляет фарватер, и речушка поменьше, совсем обмелевшая, да еще на территории дома отдыха пруд, зарыбленный, как гласит объявление. В реке рыбы мало, но как-то один большой подарил несколько килограммов стерляди. Моста нет и не надо, связи с соседней областью не поддерживаются. С тех пор как закрыли кирпичный завод, мужчины работают либо таксистами, либо охранниками в бесчисленных магазинах. Больших производств нет.

Отсутствие выбора — главный минус маленьких городов, но здесь выбор есть: почти для каждого случая (больница тут исключение) найдется то, что англичане называют *the other club* — место, в которое мы ни ногой. — Педагоги не живут на Воскресенской горе, — почему? — А вот так. Потому же, почему те, кто лояльны больнице, никогда не пойдут в «Чебуречную».

Сухое вино спросом у местных не пользуется, но «Винных домов» тоже два.

— Вы каждый день его пьете? — спрашивает юная продавщица у седого художника, девушки между собой зовут его Доном Рамоном, по названию любимого им вина.

Продавщица не осуждает художника, просто ей интересно.

— Не каждый, но... да.

Она, все так же учтиво:

— А как? По чуть-чуть или *в хлам*?

Она не умеет лучше спросить — он понимает, не обижается. Кстати, пьют теперь меньше: совсем, например, перестали дарить самогон. Курят тоже по-

меньше, осторожней водят машины — лихачи образумились или погибли, и детей стали бить много реже — город N. несмотря ни на что движется в сторону Запада, и гораздо быстрее Москвы.

Там порядок — ровная плитка, широкие тротуары и никаких ларьков. Тут с порядком похуже, но нет и мучительства — бетонных перегородок, шлагбаумов в каждом дворе, принудительных расселений, и однополая пара родителей хоть и выглядит необычно, но к ним совершенно терпимы, насколько можно судить: в отличие от государства жители города N. начали уважать *privacy*, частную жизнь.

О названии города. Литератор, известное дело, хуже свиньи: «Свинья не гадит, где кушает, не гадит, где спит» (В. Семичастный), оттого на просторах русской словесности и присутствуют лишь Москва, Петербург и по чуть-чуть — Воронеж, Тамань, Мценск, экзотический Абакан («Облака плывут...», там создан музей облаков), Магадан, Оренбург, а остальное — Юрятин, Скотопригоньевск, Калинов (драма «Гроза»), Глупов, Горюхино, одним словом — N., только бы не огорчать Семичастного.

«Мир не ломается, что ни случись»: происходят истории (скорей анекдоты), но наблюдательность притупляется — от чересчур непосредственного знакомства с предметом, слишком близкого рассматривания его. Видеть и удивляться — для этого нужно правильное соотношение старого с новым, знакомого с неизвестным. А чтобы вызвать сочувствие, бывает достаточно и поверхностного, моментального знания.

Ольга Л., тридцати с небольшим лет, приехала из соседнего городка за компанию с другой женщиной, директором детского сада:

— Не примете, доктор?

Кардиолог Ольге не нужен, сердце здоровое, но у нее тяжелый сахарный диабет. Глюкометр есть? — Сгорел.

Как может сгореть глюкометр? — он же на батарейках. Оказалось — буквально сгорел, в пожаре, устроенном алкашом-соседом. Детей успела спасти (детей трое), живут в подсобном помещении детского сада, мужа у Ольги нет.

— А сосед — спасся?

— Какой там! — Развеселилась: — Курочка гриль!

Бывают пожары и в городе N. Сгорел одноэтажный дом в центре, погибла женщина. Через окно передала детей мужу, сама выбраться не смогла. У мужа ожоги, особенно пострадали глаза, он госпитализирован в хирургическое отделение, дети целы — их, естественно, положили в детское. Сообщили: начальство, уже не на «Волгах», на автомобилях куда серьезнее, берет данное происшествие под личный контроль. Что это значит: семье дадут новый дом? — нет. Есть еще пожелания у пострадавшего? — чтоб в покое оставили, и — глазные капли с антибиотиком. Последняя просьба, видимо, слишком мелкая, да и нету способа удовлетворить ее, закупки лекарств планируются сильно вперед.

Министр хочет пройтись по больнице. Халатик поверх пиджака, бахилы (бессмыслица, если думать о чистоте):

— Что, дедуль, — кричит старику восьмидесяти лет, — разрешает доктор сто грамм-то, нет?

— Я не алкоголик, — отвечает старик. — И слышу вас хорошо.

Министр с ним переходит на «вы», спрашивает о быте. Тот жалуется: пенсии едва хватает на оплату коммунальных услуг, а еще лекарства, еда...

— У вас есть права, вы просто не знаете, как ими пользоваться, — перебивает министр, с досадой машет рукой.

«Островом называется часть суши, со всех сторон окруженная водою». Рассказывал пациент-реставратор: начальнику, самому главному, понравился мо-

настырь на Валдае, ему вообще нравятся монастыри. Этот находился на острове — видимо, неслучайно. Начальник распорядился построить мост — связать остров с сушей, и остров тем самым был уничтожен, из лучших чувств. Они могут кое-что разбомбить, и это привлекает к ним интерес, как ко всякой опасности, но вот обеспечить больницу таблетками и медсестрами начальство не в состоянии, и потому его власть не стоит, как выражался другой пациент, грузин, *ни единого яйца*, пока ему не объяснили, как правильно.

В городе N. нет такого начальства, чтобы построить мост, тем более — что-нибудь разбомбить. Невысокого роста, крепкие, хоть и склонные к полноте, мужички с барсетками — они с ними не расстаются, даже когда в церковь ходят, на Пасху. От предыдущего градоначальника, когда он съехал с квартиры, которую занимал, и совсем из города, остался только десяток огнетушителей — тем и запомнился. А боятся они лишь начальства совсем высокого:

— Приезжал генерал, кричал на Павла Андреевича... — его секретарша забежала за какой-то бумажкой в больницу, рассказывает, заходится от восторга. — Так кричал, так кричал, что Павел Андреевич... — внезапно, фальцетом, на весь коридор: — Усрался!

Пример отношения к разного рода властям подал хирург из района, соседнего с N. В конце рабочего дня к нему заявила проверка. «Подождите меня, я сейчас», — попросил их хирург, вышел в соседнюю комнату, переделался и тихо ушел. Они подождали его, подождали и тоже уехали.

«Никогда не входите в положение начальства», — так, со слов матери, ей советовал директор большого московского института, где она работала. Директор послужил прототипом для солженицынского персонажа — полковника Яконова (начальник шарашки). Ни при нем, ни потом матери так ни разу и не пришлось сходить на овощебазу и на другие общественные работы, даже заведя лабораторией, и это не имело последствий. «Не хочу», — вот и все.

Тетки (водоканал, электросети, горгаз), дачники, иностранцы, таджики («Хозяин, работа есть?»), художники, живущие на два дома — N. и Москва, а то и Париж, предприниматели, местная техническая интеллигенция (Космический институт) — в каждой группе своя иерархия, свои сословия, иногда представленные всего несколькими людьми. Тут же — дно, совсем рядом: санитарка, которую муж регулярно бьет по лицу (вернулся недавно из мест заключения), одинокая женщина из Молдавии, которая будет рада, если позволить ей прийти убирать с ее пятилетней девочкой — обычно не разрешают, и девочка по целым дням остается одна. В этом кругу, где борются за физическое существование, живут без водопровода и даже без электричества («у вас есть права» и так далее), где на кухне может стоять унитаз и им пользуются — друзья видели, заходили в квартиры подписи собирать, — и здесь происходят поразительные истории.

Володя Ш. был досрочно отпущен в больницу города N. из тюрьмы — умирать («лечение по месту жительства»). Из своих сорока двух лет — в это сложно поверить — просидел в общей сложности двадцать шесть, восьмью сроками (ходками). На вопрос, соответствует ли это действительности, начальник полиции, частый посетитель больницы — по службе и как пациент, сказал: «Любят они накручивать. Но лет девятнадцать — наверное...». В последний раз — по заявлению родной сестры, Володя стащил у нее что-то из мебели. (Есть ли в Москве отделения, где лечатся и начальник полиции, и те, кого он посадил?)

Завезли Володю прямо из лифта в Большой кардиологический кабинет и нашли у него пороки аортального и митрального клапанов. В больнице он вел себя настороженно, был подвержен коротким приступам ярости: врачи — люди в форме, Володя их никогда не любил. Но таблетки пил аккуратно, перестал за-

дышаться, и отеки сошли. А потом он уехал в Москву для замены клапанов — это был единственный способ радикально ему помочь.

Володю оперировал отец Георгий — генерал-полковник, профессор и академик РАН, священник Украинской православной церкви (УПЦ МП), ответчик по делу о нанопыли в Доме на набережной, бывший федеральный министр, начальник военной медакадемии имени Кирова, много чего еще, много ярких подробностей: в возглавляемом им институте, как говорят, установлен порядок исповедей директору. «Не бойсь. От меня, если что, — прямиком на небо», — так, по словам Володи, отец Георгий напутствовал его перед тем, как дали наркоз. Но пошло все как надо — поставили два механических клапана, и вот уже трезвый, порозовевший, исполненный благодарности Володя возвращается в N.:

— Могу для вас сделать все что хотите.

Что, например?

— Кому-нибудь в морду дать.

Сейчас вроде некому.

— Могу отсидеть за вас срок.

Ого! Значит, если украсть корову или гуся или разбить витрину кафе (его называют сталинским — из-за портрета Рябого, который они повесили), то твое преступление Володя возьмет на себя.

Умер он через несколько месяцев, но напоследок судьба ему улыбнулась опять. Володя устроился при похоронной службе — забирать умерших на дому, и однажды, вывозя из квартиры покойника, познакомился с женщиной, только что ставшей вдовой. Они приглянулись друг другу, вскоре подали заявление в ЗАГС. Хотя и предупреждали Володю, что комбинировать варфарин (средство против закупорки клапанов) с алкоголем смертельно опасно, но как на собственной свадьбе не погулять? — он не смог отказать себе в удовольствии. Так закончилась его жизнь — обширным инсультом, кровоизлиянием в мозг.

Относительному благополучию своему — культурному, медицинскому, архитектурному — город N. обязан приезжим — дачникам и тем, кто остался тут насовсем. Город N., как Соединенные Штаты Америки, создан приезжими. Интеллигенты-дачники восстановили храм на Воскресенской горе (в советское время в нем помещалась сначала пекарня, потом был склад культтоваров), дачники и концерты устраивают, и ежегодные выставки, и работу местным кое-какую подбрасывают, и в кафе едят — тоже они. Легкая к ним неприязнь естественна: французы не любят Америку, греки — Германию, тяжела зависимость от чужих людей, но даже среди подростков серьезного противостояния местные — дачники нет.

Дети играют в «фифок», в московских тетенок. Кидаются на солнечное пятно на полу: «Солярый! Солярый!». «Фифки» встречаются среди всех возрастов:

— Я думаю, вам следует это знать, — вздыхает москвичка восьмидесяти с чем-то лет. — Когда мне было три годика, мои родители страшно поссорились.

Понимает ли она, что находится у врача?

— ...И отец меня взял за ручки, вывесил за перила моста и кричал матери, что отпустит, если она сделает, как ей хочется, его не послушает. С тех пор у меня расширен левый желудочек.

Левый желудочек не расширен. — Нет, заключение, *такое*, ей ни к чему.

Иерархия дачников выстраивается независимо от их достатка или, скажем, архитектурных достоинств дач. Гораздо существенней, кто какого добился успеха, причем не в Москве: книжка вышла в Америке, картину купил берлинский музей, вернулся с гастролей в Японии — это ценится, пролезай во главу стола, говори. Уважается заграничный успех и местными: на похороны художника, замечательного, и всеобщего друга — его привезли из Парижа и отпевали тут —

полиция надела парадную форму и перекрыла движение, хотя от храма до старого кладбища ехать не больше минуты, автомобильных пробок в городе нет.

Прадед по женской линии, как многие политические (его осудили весной тридцать третьего в составе группы из четырнадцати врачей), оказался в городе N. не совсем по своей воле — после Бутырки и Беломорканала, после войны. «Это пристанище на всякий случай в нашей семье», — из его дневника. Во Владими́ре, где прадед был главврачом, его ситуация, как человека сидевшего, с возвращением фронтовиков стала опять угрожаемой (могли донос написать, посадить) — сюда он приехал летом сорок шестого, вместе с внучкой, десятилетней девочкой. В те времена из Москвы добирались двенадцать часов: железной дорогой, затем вслед за рикшей с вещами семь километров до пристани, и, наконец, пароходом вверх по реке.

Тут, в старом доме на улице Пушкина, гостило много известных и неизвестных людей: городу N. посчастливилось находиться на правильном удалении от запретной Москвы. В начале семидесятых, через несколько лет после смерти прадеда, дом разграбили и снесли — и отношения с городом прервались. От прежних времен уцелели только сохраненные матерью каминные изразцы да огромная липа в углу участка. Из ранних воспоминаний детства — вот эта липа и кое-какие запахи: сырого подвала, пыли, прибитой дождем.

В сорок шестом здесь был лишь один оперуполномоченный НКВД, в семидесяти число сотрудников тайной полиции возросло до одиннадцати — так расплодился в городе N. враги. Каково положение сейчас, не поймешь.

Европейцы, во всяком случае, себя чувствуют очень вольготно. Итальянец, художник-мозаичист, живет здесь с женой уже несколько лет. Превратностями российской истории его особенно не удивить:

— *Che cazzo!* — итальянский мат. — Когда вы еще по деревьям лазили, мы уже были геями.

Жена его зашла в армянскую лавку, а он скрутил себе сигарету и курит — возле развала, на котором лежат огурцы.

— Почему? — спрашивает покупатель.

Итальянец разводит руками: *Italiano*, он по-русски не говорит.

— Да понял я, итальяно. Почему итальянские огурцы?

Иностранцам не удивляются. Немцы, французы, индийцы, американцы — кого только нет. Таджики, азербайджанцев, армян, молдаван не считают за иностранцев, но и не притесняют: что делать — людям не повезло.

На мойке машин появился новый работник — Сурик, Сурен. Где прежний?

— Гагик. Слушай, посадили его. Азербайджанца одного застрелил.

Дали четыре года, как-то очень по-божески.

— Не застрелил, папа, а подстрелил, ранил, — вмешивается десятилетний сын Сурика, он учится в школе, летом помогает отцу.

По выходным приезжают туристы, осматривают Воскресенскую церковь, «спящего мальчика» (под ним похоронен Борисов-Мусатов), спускаются к Камню. Экскурсовод рассказывает: в начале шестидесятых из Киева на попутках приехал студент Сеня О., «в обтрепанных штанцах мальчишка» (Ариадна Эфрон), романтическая натура, кристально чистая, сейчас таких называют *прекрасными*. Явился с одним лишь желанием — исполнить посмертную волю Поэта, настолько Сеню «пронзили» ее стихи. «Я бы хотела лежать в одной из могил с серебряным голубем...» Камень, поставленный Сене́й (из местной каменоломни), убрали через несколько дней. Добрые дела — вроде помощи (и то в основном оружием) тогдашним детям Джанкоя, африканским, арабским, — совершало лишь государство, без согласия властей не то что Цветаевой — никому, Хрущеву нельзя было сделать памятник. Зато интеллигенция города N.,

особенно женская ее часть, оценила Сенин порыв. «Охмурить их (интеллигентов) — задачка для малолеток. Их можно голыми руками брать», — Сеня как-то сказочно преуспел, но не всем пришлось по душе его оборотливость — о Сене написана повесть. Так что прививка от энтузиазма, от добрых дел городом N. получена, и давно. Нынешний камень поставили в перестройку, а Сеня живет далеко — в Нью-Йорке, сочиняет «добрые стихи для детей, чтобы не забывали русский язык».

Магазины, кафе, гостиницы, дома отдыха — ими владеют местные предприниматели, люди своеобразного обаяния. Они привыкли, что лучше действовать в обход государства, и презирают тех, кто благодаря погоням или друзьям в погонах *бабки срубил*, — таким, говорят они, только бы все надкусить. В их среде много уголовной терминологии (разборки, общак, беспредел), но людей этих можно просить о помощи, не стесняясь, — бывает, отказывают, но рука у них легкая, безо всяких там «к сожалению, вы не вписываетесь в нашу программу». Без одного из предпринимателей, дающего тайно, больнице бы трудно пришлось. В свое время он сильно был удивлен, что его девяностодвухлетнюю бабушку никто не спросил, чего она в ее возрасте хочет: понятное дело, того же, что все, — подольше пожить и чувствовать себя хорошо, — полечили ее, помогли. Она теперь уже умерла, а внук все дает.

Вещами, практически важными (коммунальные службы, школы, пенсионный фонд, казначейство, ЗАГС), заведуют, как положено, женщины средних лет — на них худо-бедно и держится повседневная жизнь города, его быт. Они не против выпить в компании и попеть («Спойте, девочки?»), и намного приятнее этих, с барсетками, иногда они кажутся совершенно понятными, даже своими, иногда нет. Вот пример: в поликлинике работал высокий, печальный врач-терапевт, очень посредственный, — обнаружилось, что теперь он сидит за кассой в одной из московских аптек. На новогоднем банкете, между закуской и танцами, обсуждаются овощи, которыми торговал терапевт. Теткам его профессиональная деградация не представляется чем-то трагическим, им жалко, что он уехал из города: перед тем как попасть за кассу, терапевт продавал хорошие овощи.

Рынок в городе N. по субботам, для обывателей это главное городское событие. Здесь можно услышать всякое:

— Не дал Бог здоровья нашему патриарху. — Отзвыв на кончину Алексия.

Ответный вздох:

— И жизни тоже не дал.

Другая парочка покупательниц:

— Ты зачем ее, — вероятно, свекровь или мать, — кормишь-то так? Смотри, она у тебя до ста лет доживет.

Третья:

— А у моего и печени не осталось. Доктора сказали: держится только за счет желудка и поджелудочной.

Громких убийств не было много лет — с тех пор как упразднены казино. Запрет игорного бизнеса и сокращение обязательной службы в армии — вот и все, кажется, что можно вменить в заслугу нынешней власти. Впрочем, за давностью нетрудно что-нибудь упустить: скажем, Ельцин сделал себе шунтирование, и число операций по всей стране сразу выросло в десять раз — кто теперь помнит об этом его достижении?

Из преступлений, которые были у всех на слуху, — ограбление банка, вооруженное (отключили электричество в городе, угнали и бросили «Жигули»), еще — галереи, слегка связали охранника и директора (объяснили: учения идут), унесли Поленова и Айвазовского, в обоих случаях злоумышленников не нашли. И еще — избиение проживающих в доме отдыха, за медицинской помощью обратились

сразу тринадцать из них: били ночью, бейсбольными битами — по заказу директора самого дома отдыха из-за одной неудачной остроты. История эта получила огласку на всю страну как нечто в гостиничном деле новое.

Обращаться в полицию приходилось однажды — в восьмом году: кто-то ходил по домам, листовки раскладывал в ящики — про то, что врачи работают на ЦРУ, понятия «иностранный агент» еще не было. Писали так: «Пришлые иноплеменные экстремисты откармливают бомжей для трансплантации их на органы», — готовили почву для нового «дела врачей». Тогда никого не нашли, а потом — утихомирилось все, улеглось. Очень по-русски — не разрешилось, но минуло: чего уж теперь? — дело прошлое. По крайней мере сама полиция города N. не воспринимается как опасность. Отношения с ней свойские: тоже бюджетники, и у всех — дети, жены, родители, всем время от времени требуются врачи.

Вот история — свежая, но московская. Подъезжает «скорая», в комнату к дежурному врывается медсестра: «Гаишника привезли!». Радостное оживление: у гаишника — инфаркт миокарда. Тут же жена его, причитает: «Он у меня кабинетный», — мол, не лишайте жизни, помилосердствуйте. — Такое в городе N. никому бы в голову не пришло.

Из христианских конфессий представлены: пятидесятники (наверху, на Кургане, есть церковь), адвентисты седьмого дня (через реку их школа, университет, институт перевода Библии) — держатся они скромно, и православные — их, естественно, большинство.

Немолодой приезжий пижон не в восторге от города. Вздыхает:

— Очень у вас все какое-то серое, неказистое. Да и в Москве, — говорит, — тоже нехорошо.

А где хорошо? — На Афоне. Ведь кроме спасения души... На деле ему еще надо много всего, причем быстро, бесплатно и качественно, для этого он и явился в больницу города N.

Религиозность старенькой Ольги Михайловны, у нее сердечная недостаточность, непосредственной, веселей:

— По убеждениям я коммунистка, даже взносы плачу. Но, знаете, я суеверная. Мне кажется, что не только ваши таблеточки помогают мне, но мне и Бог помогает.

Еще одна православная, завскладом канцелярских товаров:

— Брошу курить, обязательно. Я и со старцем советовалась. Православный человек ведь не может курить, да? Я в паломничестве не курю, а возвращаюсь — и всё по новой, тут же на нервах всё. Я на складе работаю, у меня ответственность. Вам, доктор, если нужны будут еще степлера, папки, фломастеры, у нас добра этого — завались.

Завскладом смеется, она принесла огромную сумку, наполненную канцтоварами. «Приобретайте друзей богатством неправедным», — из евангельских заповедей эта усвоена лучше всего.

Наконец, Настя, девочка тринадцати лет с задержкой развития. Медсестра берет у нее на анализ кровь, спрашивает, чтобы отвлечь девочку:

— А по знаку зодиака ты кто?

— Никто, — отвечает та, — у меня нет знака зодиака. Я православная.

Ответ девочки обескураживает медсестру: и она православная, но у нее свой знак зодиака есть.

В реанимацию могут заходить все, священники не исключение. Иногда их просят прийти к больным, находящимся при смерти, — пособоровать, причастить.

— А есть надежда, что она вообще выживет? — спрашивает молодой священник: соборование — трудоемкое дело, и ради чего? Тяжелый инсульт, искус-



ственная вентиляция легких, несколько суток уже без сознания. А чудеса — кто в них верит? — разве что родственники.

Другой священник попробовал отговорить нескольких женщин делать аборт. Явился в гинекологию, выступил — ярко, художественно, но женщины вместо того, чтобы слушать, стали галдеть: одной будущего ребенка кормить нечем, сидит без работы, другая — без мужа, третья скитается по чужим углам. «Раньше думать надо было», — сказал он женщинам и ушел.

У самих приходских священников мало свободы — меньше даже, чем у врачей. Не все, слава Богу, но как-то они быстро сделались частью системы: школа — армия — больница — тюрьма. От церкви многого ждали, пока она находилась под гнетом, да и потом, в девяностые, но по-настоящему она научила людей лишь тому, чего нельзя потреблять в пост.

Много тоски по прошлому, даже не своему. С пациентами о политике лучше не говорить, но кажется, что если у женщины необычный митральный клапан, то и сама она человек интересный. Наталья, тридцати шести лет, летчик-любитель и журналист, скучает по СССР:

— Это сила была.

Ну вот, ничего интересного, да и не жила она толком в СССР — комсомольцы, однако, воспроизводятся сами, безо всякой организации. И тут же старушка — в ответ на вопрос, почему она не принимает лекарств:

— А кому мы нужны? Вот раньше...

Понятно. Раньше — государство заботилось. У обеих ощущение сиротства, хотя у первой живы родители. Старушку легче понять — живется ей одиноко, и все равно ее британская сверстница вряд ли бы апеллировала к тому, что Ее Величеству дела нет, какой у нее, у старушки, пульс.

Ностальгия по СССР сделалась общим местом — все нас боялись, и было много хорошего: бесплатное (что это значит?) здравоохранение, огромные тиражи литературных журналов, Союзмультифильм. Вышедшие из Египта евреи тоже тепло вспоминали неволю: и «котлы с мясом», и «рыбу, которую ели в Египте даром, дыни и огурцы», а может быть, и египетскую медицину, и — кто знает? — образование.

«В сиротские пелеринки / Облаченные отродясь — / Перестаньте справлять поминки / По Эдему, в котором вас / Не было», — дачу Цветаевых советская власть сровняла с землей, там теперь танцплощадка того самого дома отдыха, где зарыбленный пруд и так неласковы к отдыхающим. Напротив больницы — музей: из вещей Цветаевой только зеркало, в котором, возможно, она отражалась. В завершение экскурсии девушка высоким голосом декламирует «Моим стихам» и объявляет, что их черед наконец настал.

Настоящих фанатиков мало. Вот, однако, один из них: в тридцать восьмом расстреляли отца, и сам успел посидеть — протестовал против ввода советских войск в Венгрию, Хрущев его вскоре выпустил (Хрущева он ненавидит). Теперь, в свои восемьдесят с небольшим (ровесник матери, он помнит ее здешнюю учительницу английского языка Маргариту Яковлевну Рабинович: «Она ведь была репрессирована», с этого начался разговор) преподает философию, религиоведение, обществознание в московском вузе, а тут, в отделении, проповедует сталинизм.

А как же отец?

— Да, перегибы были... Но, между прочим, и Черчилль ведь отмечал... — Заграничный успех сталинистами тоже ценится.

Профессор ничем не рискует, иное дело трезвый спокойный К., инженер из Московской области.

К. требуются антикоагулянты (средства, которые препятствуют образованию тромбов) — риск в его случае очень высок. Два варианта — дешевый и дорогой, и оба ему не подходят: дешевый требует частых анализов, их не делают в его поликлинике, а дорогой — почти четырех тысяч в месяц, которых нет.

— Раньше мы зарабатывали, теперь перестали. Кризис. Плата за Крым.

Очень ясное понимание.

— И что, мы готовы платить?

— Да, — отвечает К. неожиданно, — мы готовы.

— А что делать тем, кто платить не готов?

Пожимает плечами:

— Ложиться и умирать.

Умирать-то первым — ему, но «Merde! Гвардия умирает, но не сдается». Что ж, нет так нет. В обоих случаях надеяться на выздоровление нельзя: и профессор, и К. — состоявшиеся, взрослые люди, читали «Архипелаг», знают про Бутковский полигон, Соловки, расстрельные квоты, Катынь и про все остальное, но выбирают сильную власть, космос, советский хоккей.

На такую идейность, однако, способны не все.

— Нина Ивановна, вы, значит, жили в Москве. А работали кем?

— О, у меня была лучшая в мире работа. Шлифовальщицей. На часовом заводе имени Кирова. Заходишь в инструментальный цех... — Нина Ивановна зажмуривается. — До сих пор этот запах снится, в мире нет лучше запаха.

— А ушли почему?

— А они зарплату стали задерживать. И ушла. На хер мне эту пыль глотать.

«Из всех вертухаев врачи лучше», говорил Браиловский, однокурсник матери и ее друг, после тюрьмы и ссылки (сидел в начале восьмидесятых за сионистскую деятельность). Комплимент сомнительный, но заслуженный. Российская медицина, как и советская, — часть репрессивной системы: из больницы не отпускают, работать не разрешили, рожать запретили, в операции отказали, состояние тяжелое, температура нормальная, посещение с шести до восьми. Нет, в другую больницу нельзя: транспортировки не вынесет, — не спрашивайте почему. Нельзя того и сего — кофе пить, самолетом летать, волноваться нельзя, нагибаться, спать на левом боку, машину водить, поднимать тяжести, в отделение нельзя без бахил. Чего вы хотите? — вы же целый день за компьютером, вам уже шестьдесят (или сто), поздно к врачу пришли, сами во всем виноваты — не совершайте преступлений, и вы не будете сидеть в лагере. Есть распорядки, стандарты, план. Могут и посочувствовать: юной скрипачке, у которой болела спина, тетя-профессор, заслуженный врач, дала хороший совет — держать скрипку в другой руке. Могут, сделав административную гадость, вздохнуть: «Такая у нас страна».

Мысль, что действовать надо в интересах больного, а не того заведения, где ты работаешь, системы здравоохранения или пользы и славы Отечества, звучит революционно-парадоксально, как заповедь «Любите врагов своих». Иногда в один день на прием приходят сразу несколько человек, которых совершенно напрасно, без показаний, прооперировали в самых известных лечебных учреждениях страны. Они и видят, что зря подвергались риску, что состояние их не улучшилось, но и не верят, что такое возможно, как не верили люди в двадцатые, тридцатые и так далее, что могут посадить или расстрелять просто так, ни за что, «для освоения квот».

Пациентка — врач-терапевт из Москвы, приехала за советом: направляют на операцию. Других жалоб нет. У нее — пролапс митрального клапана, довольно тяжелый, но операция пока не нужна. Сама она не хочет разбираться в том, чем больна, и не надо ей отправлять никаких материалов: электронной почтой она не пользуется. Попытки объяснить ситуацию (переднюю створку сложней починить, чем заднюю и т. п.) напрасны:

— Ведь я участковый...

Но терапевт же, не участковый милиционер. Улыбается: операция не нужна — и ладно, у нее отлегло на душе.

Рассказывает: у них в поликлинике все собираются на разрешенный московский митинг — против оптимизации, то есть сокращения врачей, но она не уверена, стоит ли им идти.

Был слух: всех уволят в ближайшую пятницу, собрание назначили. Вроде как надо протестовать. Но потом начальство перенесло собрание, так что пока не уволили. Может, вообще не уволят — зачем тогда этот митинг? А вдруг до начальства дойдет, вдруг покажут по телевизору?

— За тем и ходят на митинги, чтобы дошло до начальства, нет?

Вздыхает:

— Вам легко говорить.

Рассказал хороший товарищ, художник, тоже из города N. Однажды в Париже ему для выставки понадобилось написать худую обнаженную женщину. Художник отправился на знаменитую Пляс Пигаль и привел проститутку, очень худую, какая и требовалась. Художник велел ей раздеться и приготовился рисовать. К его удивлению, она отказалась позировать, даже обиделась: «Я проститутка, а не натурщица». Есть итальянский вариант той же истории: «Синьора, я вор, а не почтальон», — на предложение грабителю самому подвезти украденные вместе с сумочкой документы. Вот какое самосознание у европейцев. «Понятное дело, — говорит Епиходов. — За границей все давно уж в полной комплектции».

Прося знакомых и незнакомых людей помочь больнице деньгами, сверяясь с книжками, останавливаясь и переспрашивая коллег — здешних, московских, американских, — тут можно все-таки делать то, что считаешь правильным. Есть, однако, болезни, которые в городе N. невозможно лечить — по закону и потому что нет оборудования и врачей: надо больных посылать в Москву, на худой конец в область. Одна из этих болезней — рак. Отставание от мирового уровня особенно разительно в онкологии: да, опухоль (и то не всегда говорят, чаще — «заболевание»), но у нас очередь из таких, как вы, и потом — плохая кардиограмма, приведите в порядок сердечный ритм, приезжайте через четыре месяца, а тогда уж — последняя стадия, «лечение по месту жительства». «Обреченные» — так на своих евреев смотрели прибалты во время войны — зачем их напрасно жалеть, попусту тратить эмоции? — чего доброго, профессиональное выгорание произойдет. Больных не сбрасывают со скалы, не расстреливают, просто не лечат, да и люди приучены: есть важные вещи — Олимпиада, Крым, а бабки (в значении «пожилые женщины»), да еще больные, — они не важны. Но мы ведь не звери — построим хосписы: модное слово, и заведение модное, не зря начальству они так по душе. (Вообще-то хосписы призваны защищать от избытка лечения: чтоб, например, не меняли сердечные клапаны старикам с глубокой деменцией, а у нас и в здравом уме, если тебе за семьдесят, на операцию не попасть.)

Образец настоящего мужества явил аварец Ахмад — в больнице его история стала известна, когда благополучно закончилась.

Ахмад живет в далекой от города N. провинции, работает слесарем, и не то что в Европе с Америкой — он и в Москве не бывал. Несколько лет назад стал терять в весе, появились какие-то боли. Ахмад сходил в поликлинику, обнаружили опухоль. Онкологический диспансер: лечение сложное, надо обследовать сердце, легкие, записаться туда и сюда. Съездил в Москву, в известную клинику, тоже без толку. До хосписа (в народе их зовут подыхаловками) было еще далеко, но Ахмад догадался, что счет пошел не на годы — на месяцы, поговорил с семьей. В Бельгии (везет вам, аварцам, всюду у вас земляки!) обнаружился двоюрод-

ный племянник, который ему рассказал, что у них хорошая медицина, и появилась цель — попасть в Бельгию. Сбережения (две тысячи евро) ушли на взятку для визы — визу не сделали, но деньги вернули, и Ахмад попрощался с родными, доехал до Бреста, автобусом, пересек границу (есть для этого механизм) и через Польшу, Германию (немецкая медицина не хуже бельгийской, но племянник не говорил про Германию) на попутных машинах, не зная ни одного иностранного языка, попал наконец в Бельгию, где и сдался властям, попросил убежища, про болезнь свою не сказал.

Ахмада отправили в лагерь для перемещенных лиц — без часового на вышке, собак и колючей проволоки — общежитие в центре Брюсселя, комната на четверых. Кормили, сколько-то даже платили, статус беженца дают (или не дают) через несколько месяцев, которых в его случае не было, но Ахмад к врачу не просился, дожидался пока позовут.

Когда в одной из главных брюссельских больниц ему сделали операцию, по видимому, удачную, и провели курсы «химии», чтобы не рецидивировал рак, Ахмад объявил, что соскучился, хочет домой. За казенный счет, через международные организации, Ахмада из Бельгии выслали — самолетом, в сопровождении врача, от него и стала известна эта история. Дали огромный запас наркотических анальгетиков, которые, хочется верить, не пригодятся ему.

Ахмад себя держит с достоинством и совершенно без вызова. Храбростью и желанием жить заставляет вспомнить «татарина» среди поля — толстовский репей: «Какая, однако, энергия».

— Доктор, а что такое инсульт?

— Это когда отнимаются руки и ноги.

— А мне жена говорит: хоть бы у тебя отнялся язык.

Понятно: дружная парочка, выпивают вместе по вечерам, вместе хозяйство ведут, и кардиологу вместе морочат голову.

Следующему пациенту тоже больница нравится. Он обводит взглядом Большой кардиологический кабинет:

— Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева. — Тоже понятно: интеллигент, приехал издалека, успел у реки погулять, видел камень.

Понимание — основное условие жизни в городе N. Услышав лай незнакомой собаки или гудок соседского автомобиля, выглядывают на улицу — загадок быть не должно.

У больного инфаркт, большой, с осложнениями, весь вечер им занимались. Теперь, с утра, он собрался домой.

— С ума сошел. Надо его привязать, — говорит медсестра.

Нет, он в ясном уме. Хотя и с причудами:

— Какое сегодня число?

— Сегодня день рождения Всесоюзной пионерской организации.

Глянули в Интернет — 19 мая, правильно. Он как попал сюда?

— На индивидуальном транспорте.

Ага, понятно: бросил машину под окнами, опасается за ее судьбу.

— Переставим, хотите? Дайте ключи.

— Да при чем тут?.. У меня от лекарств ваших печень болит. — Вранье.

Уговоры не помогли. Что же, еще один «тяготится пребыванием в стационаре» (отличная формула!) — каждый имеет право уйти. Рано, конечно, и суток еще не прошло — риск, и большой, но тут не тюрьма. Провода отцеплены, катетеры извлечены. А перестилать подождите: он скоро придет. И точно, минут через двадцать — звонок:

— Помираю, спустите лифт. — Отвез машину в гараж, вернулся сюда на такси.

У другого мужчины по имени Николай на руке загадочная татуировка: ВОВВА. Что это? Откуда двойная «В»? Кроме нелепостей, ничего не приходит на ум. Спрашивать вряд ли прилично, но любопытство сильней. Загадка решается неожиданно: НОННА — так звали подругу его молодых лет, к ней ревновала жена. Чего не сделаешь ради любви? — снова пришлось потерпеть, несколько черточек наколоть, «Н» заменить на «В».

В мелькании лиц, характеров, ситуаций протекает больничная и околобольничная жизнь. Пациентов через терапевтическое отделение, включая амбулаторный прием, за время работы в городе N. прошло уже свыше двенадцати тысяч, большинство — по несколько раз. Забывается все, если не записать: и погорельцы, и уголовник Володя, и шлифовальщица с Первого часового, и набожная кладовщица, и инженер К. («Гвардия не сдается», у него таки случился инсульт). Даже дети Джанкоя стали далекой историей, хотя с того дня, как на них собирали, трех лет еще не прошло. Вот и больной — был тут в девятом году — обижается, что его не узнали в лицо:

— Постарели вы, доктор. А я Крымцов. Через «ы». — Что он имеет в виду?

Человек живет в городе N.: в меру однообразно, но — «подо мной земля, надо мной небо» — уютно, тепло. Есть вещи, которые трогают, есть — которые раздражают. Не нравится политический строй, и не только строй — настроения сограждан, но один и тот же подарок, свободу, дважды не дарят, шансов дожидаться решительных перемен мало, это с Брежневым была разница в возрасте почти в шестьдесят лет. Душа, однако, отказывается верить в худшее (возможно, не хватает фантазии), и деваться особенно некуда с беспомощной матерью на руках. И потом, самовоспроизводятся не одни комсомольцы, но и русские интеллигенты — молодые коллеги: они, как посмотришь, уже далеко тебя превзошли. С городом N. все как будто бы ясно. Последующие события заставляют, однако, взглянуть на него с неожиданной стороны.

## 2.

Код I72.8 по МКБ: «Аневризма других уточненных артерий». Формулировка абсурдная, но в иных обстоятельствах можно было б сказать — не лишенная красоты.

— Смерть матери — это психическая болезнь минимум на год, — говорил протоиерей Илья Шмаин, учитель и друг. — Как бы ни был готов, ни ждал, в любом возрасте.

Врачи сделали, что могли: операция, многократные переливания крови. Четверо суток, очень наполненных — отпала идея, ложная, все контролировать, и счеты — давние, чуть ни детские — тоже ушли. Происходили и чудеса, из ряда тех, в которые верят лишь родственники. Кроме главного (победы над смертью), все удалось — большую новость, плохую, сопровождают хорошие, много меньшие.

В Америке на факультетах, где учат писательскому мастерству, студентам дают задание: написать о смерти родителей — десятки тысяч эссе ежегодно, десятки тысяч смертей, десятки тысяч писателей. Дж. Франзен берет легкий тон — рассказывает, как, получив печальную весть, поджарил себе яичницу. Это совершенно неинтересно, все помнят: «Мать умерла сегодня. А может, вчера» (Камю).

Последние годы ее прошли здесь, в городе N., в заново выстроенном ею доме, с сиделками — немолодыми женщинами из республик бывшего СССР. Тяжела зависимость от чужих людей — она бывала с ними резка, говорила им «ты», это злило, но теперь мгновенно нашло объяснение (идея равенства не работает, когда ты лежишь, беспомощный, а другой стоит), как и немецкий язык, на котором она разговаривала в забытии: непонимание того, что творится, перемещало ее в Германию, где она жила с одиннадцати до тринадцати лет, вскоре после войны.

Последние слова ее: «Если дадут», — на предложение успевшего к ней из Москвы священника, отца Константина, принять Дары, еще через час — остановка дыхания. Оповещение знакомых, панихида в кругу нескольких близких людей, ночь и — тайна, куда ни ступишь, о чем ни подумашь.

Разговоров о смерти — нецеломудренных, имеющих целью спровоцировать жалость, — она не позволяла себе никогда, но быть похороненной, без сомнения, хотела бы тут. Ее чувства к городу были сильными и даже понятными не до конца. Прежде, однако, никого из членов семьи не хоронили в городе N. (прадед завещал развеять прах над рекой), места на кладбище нет.

И вот уже утро нового дня, и надо просить начальника — усатого весельчака, которого назначили в N., когда был известный больничный скандал, — выделить место на старом кладбище, но — нет, такое ему не под силу: требуется постановление депутатской комиссии, какая-то еще ерунда, даже слушать которую нету времени.

Тетки решили дело в пятнадцать минут.

— Пишите: «в установленную ограду».

Попытки кому-нибудь заплатить напрасны. Никто не спросил, как когда-то отца — «Милок, ты дузел?» (на предложение взять денег за выпитое на жаре молоко), просто сказали:

— Вы человек известный. — Был бы артист, спортсмен, может быть, даже бандит, тоже бы помогли.

Уже на выходе — старый знакомый матери, беженец из Баку, семья его долго жила у нее в Москве, теперь он заведует ЖКХ:

— Почему не сразу ко мне?

«Приобретайте себе друзей богатством несправедливым, чтобы они, когда оскудеете, приняли вас в обители вечные». Вот, забыл.

Суета с бумажками, с устройством поминок, переговоры с певчими, с настоятелями обоих храмов: хочется, чтоб отпевал друг, отец Константин («Законный, батюшка, он законный» — волшебное слово, которое следовало произнести), — поиски бытовых решений в ситуации вовсе не бытовой.

В похоронной конторе работают люди не лучших человеческих качеств, отношения с ними осложнены (однажды они, например, перепутали двух покойниц), — и никакого выбора, никакого *the other club* — однако и тут было по-человечески. Буклет: громадный ассортимент гробов, в том числе импортных. Хочется пошутить — про «любовь к отечественным гробам», но можно и не шутить. Мучительно знать, что эти две ночи она находится у чужих.

И вот закончились отпевание и похороны. Церковь явила много любви — и ей, и живым, и людей было больше, чем ожидалось, пришло много местных, в Москве бы столько не собралось. Можно сказать, что все прошло хорошо. Старые сослуживцы говорили о ее даре молчаливого присутствия. «Пленный дух» — так выразился о ней самый близкий, самый преданный друг (опять пригодилась Цветаева).

Из происшествий: отец Константин прихватил с собой из Москвы бездомного дядьку, который живет у него при храме, долго не пил, а накануне

впал в состояние — напился, устроил дебош. Куда его было девать? Так и сидел он закрытый в машине и матерился, его водой поили через окно.

Следующий день, и еще один — поскорей найти мужиков участок огородить. Вроде бы торопиться некуда, но что-то же делать надо: иллюзия, что можно еще помочь. Вот, добавить в контакты: Валера Кладбищенский. Кладбищенский — не фамилия, место работы, чтоб не забыть. Наблюдение про «пить стали меньше» к нему не относится: Валера явился измерить участок, а рулетку забыл. Нелепость какая-то, но рассердиться не получается, и какой в этом прок? — сходит он за рулеткой, сейчас принесет.

Можно пока оглядеться: ворота раскрыты, ни сторожей, ни продажи цветов и венков, — никого. На крестах, на надгробных плитах встречаются знакомые имена — новых соседей на веки вечные. Направо пойдешь — придешь к Паустовскому (год шестьдесят восьмой — первые в жизни похороны, у отца на плечах, весь город хоронил Паустовского), налево и вниз — к Штейнбергу, доброму другу, но есть и такие лица, которые лучше видеть на памятниках, чем, например, в переулках. Много могил заброшенных: опрокинутый камень — надпись стерлась за давностью, удивительно легкий, из местной каменоломни — девятнадцатый век (поднять его), а вот за поваленным частоколом живописная группка цветных полусгнивших крестов — синий, серый, коричневый — хорошо б их не тронули. Там и сям воткнуты жалкие пластмассовые цветы — попытка поддержать красоту малыми силами. Слишком много деревьев растет, темновато от них. Нужно будет траву посадить — позже, конечно, в мае-июне: есть ли такая, что любит тень? — подобных забот прежде не было. А вот и Валера вернулся, надо помочь ему с измерениями.

Для чего люди ходят на кладбище? Сильней ли тут связь с дорогими покойниками, — трудно сказать, и к чему задаваться вопросами? — ходили и будут ходить. Здесь, на старом кладбище города N., совершенно тихо. Не просто — отсутствие мешающих звуков, а, как бывает в библиотеке или в концертном зале без публики, пространство полно тишиной.

В следующий понедельник медсестра приносит в Большой кардиологический кабинет пачку денег: вот, собрали на вас. — Спасибо, хотя... Благодарность, неловкость, но сильнее всего — удивление: разве мы дети Джанкоя, чтобы на нас собирать?

Медсестра смотрит непонимающе, как когда-то со знаками зодиака:

— Дети Джанкоя? Кто это?

В пачке сотенные, тысячные купюры — около шестнадцати тысяч. Сумма вовсе не символическая: с тем, что дает государство (пять пятьсот семьдесят), денег этих в городе N. вполне бы хватило на скромные похороны. А дети Джанкоя — кто же мог знать, что однажды окажешься в их положении?

Старое кладбище скоро становится частью большого дома, каким воспринимается теперь город N.: вместе с больницей, жилищами старых друзей, мастерской итальянца-художника, с лесами, оврагами, далями, «спящим мальчиком», тропинкой вдоль берега, рядом с которой лежат на привязи несколько плоскодонок — вверх дном. Лодки будят воспоминания: под одной из таких лет сорок с лишним назад приходилось скрываться, сказав или сделав что-нибудь нехорошее, обсуждать свой поступок со старшими — вроде исповедальни, как у католиков. Под лодкой было темно и прохладно, и пахло сырым подвалом, отец с матерью сидели поблизости на траве: она обычно молчала, даже дремала, он говорил горячо. Много переменилось с тех пор, но лодки всё те же, а N. — так и есть, город-дом.

Вещи: все уникальное — письма, старые фотографии, магнитофонные записи, дневники — сохранить, все медицинское, бытовое и просто случайное — раздать или выбросить. Сложней всего с фотографиями последних трех-четырёх лет — эти годы прожиты с огромным усилием, в попытках замедлить сползание вниз — уничтожать нельзя, но и рассматривать их не хочется. А вот гигантская папка, посвященная тяжбе (проигранной) с властями города N., дело было в семьдесят третьем году, — на то, чтоб ее разобрать, уходит целое воскресенье.

Жалобы, акты, постановления о возбуждении дел и отказы в них, телеграммы, уведомления, описи, письма в газету «Октябрь». Приемы, которыми пользовалась тогдашняя власть, выглядят современными: вскрыли дом и дали соседям разграбить его (заодно и сад), постановили выделить новый участок земли на Воскресенской горе и перенести на него все по бревнышку, за государственный счет, а потом в один день — сломали бульдозером дом, а постановление свое отменили как незаконное. Разве что не советовали: обращайтесь в суд, — судиться с властями было в то время запрещено.

Опись вещей по адресу улица Пушкина, дом 1. В числе понятых — местный преподаватель музыки, первым пунктом идет «Рояль старая, разлаженная» — каждый описываемый предмет снабжен уничижительными эпитетами: если ведро, то ржавое, шкафы — самодельные, одеяло — простое. Личность председателя райисполкома, «человечка с манерами провинциального трагика старой школы», тоже кажется хорошо знакомой. Это был его бенефис, и председатель провел его с виртуозной легкостью — больно уж дачников, говорят, не любил. С той поры на улице Пушкина даже хуже, чем пустота, страшней: громадина из серого кирпича, Дом детского творчества, давно уже заколоченный — ни сотрудников, ни детей.

В дневниках прадеда есть маленький эпизод про то, как пришлось ему полечить городскую власть: «Сегодня вечером у горящего камина я прекрасно вымылся. Радио передавало “Волшебную флейту”. А перед этим я побывал у тяжелого больного — работника райкома, — и после его болезни и неопрятного его жилища мой уют и мое здоровье особенно показали мне милостью Божьей», — пишет пораженный в правах человек шестидесяти четырех лет. А судьба председателя оказалась и вправду трагической: в пьяном виде на «Волге» своей он врезался в дерево, ударился грудью о руль и погиб.

Дальше идут документы куда жизнерадостней. «Восстановление исторической справедливости», ни много ни мало, собственный почерк легко опознать. Это уже девяностые — свобода в подарок («Как сильно билось русское сердце при слове “Отечество”!») — интересная жизнь началась: знакомство с тогдашним главным врачом, почти что случайное (удалось помочь одной пациентке, которую он прислал в институт), потом он является сам, вспоминает прадеда, тот когда-то ему одолжил изумительную косу, и главврач хранит ее, ждет наследников — одно за другим обстоятельства уступают, подлаживаются. Весна девяносто третьего: выделить таких-то размеров участок земли в городской черте под строительство — вот документ.

Строительство шло небыстро, приезжали лишь в теплые месяцы, и только однажды, ранней весной девяносто восьмого или девятого, вдруг сбежали сюда — вдвоем.

Изложить покороче — история жуткая. Выходным днем очутились в невероятных гостях (Немчиновка, Баковка, Жуковка): мрамор, стекло, промышленная керамика — мамы однокурсники, живущие в США, попросили что-то им передать через внуков или детей. Хищный взгляд: — Ах, вы врач! — оставайтесь обедать, и между закусками хозяйка рассказывает: у нее, представьте себе, было четыре замершие беременности (четыре мертвых плода), пока она наконец не



нашла суррогатную мать. — Кого?? — Хохлушку, кровь с молоком, та родила им Виталика — вот он, большой уже, сидит за столом. Однако, — глаза у хозяйки опять загораются, — когда они с мужем захотели произвести еще одного, при помощи той же хохлушки, то, — внезапная нотка радости, — беременность и у нее замерла!

В доме курить нельзя, поэтому в паузу — потихоньку одеться, выйти. Вместе, почти не сговариваясь, забраться в автомобиль, и — долой. Дорогой, на окружной (она не была еще МКАДом), завести музыку, петь, оживленно болтать, промахнуть поворот на Ленинский и — раз уже так получилось — рвануть в город N. Ехать теперь не двенадцать часов, всего полтора, а там — холод в лицо, в промерзшем доме он ощущается даже острее, чем на улице, но — камин, «разлаженная рояль» (камин и рояль — те самые), водка, краковская колбаса («Как же ты на отца похож!»), согреться — снаружи и изнутри — и вместе вспомнить историю еще одного побега, совсем уже давнего.

Средняя московская школа № 31, пятый класс. Училка, классная руководительница (ни имени, ни лица, дура: не знала слова «проmozглый» — перечеркнула его в сочинении — слова такого нет!) не отпускает с уроков по записочкам от родителей, и мама зашла к ней: — Иди, одевайся пока.

Время года — зима: ботинки надеть, пальто, тапки сунуть в мешок, и — на темную улицу (во вторую смену учились). — Быстрой, мы опаздываем.

Следом — соученик, раздетый, бежит, хватает за хлястик: — Стой! Людмила Олеговна (или Лариса Валерьевна?) не отпускает тебя! — Драться совсем не умел, но очень ловко ткнул его физиономией в снег, и — побежали, чтобы в школу № 31 никогда уже больше не приходиться.

В июле и августе было холодно, шли дожди, но потом наступила хорошая осень, сухая и теплая. Скорее закончить прием и отправиться ворошить желто-зеленые листья, нападавшие на траву — сеяли несколько раз, и она выросла несмотря на тень. Посидеть на скамейке, сколоченной тем же Валерой, почитать книжечку.

«Избавиться от верований, заполняющих пустоту, подслащающих горечь. От веры в бессмертие. От веры в полезность грехов. От веры в predeterminedность событий — тех утешений, которых ищут в религии». (Симона Вейль, «Тяжесть и благодать».) Ох, не слишком ли радикально? Впрочем, думать об этом не хочется, интерес к человеческой мудрости совершенно пропал.

«Лучший вид на этот город — если сесть в бомбардировщик», написал поэт — о другом городе, о Москве. (Она ему отомстила — роскошным памятником: руки в брюки, итальянские башмаки, с опрокинутым в небо лицом.) На N. надо смотреть с земли, а лучше — из-под нее. Тут и время течет не так, как в классической физике, словно кто-то возвел его в минус первую степень. Жизнь в такой перспективе стремится не к истощению, к нулю, а наоборот — к полноте. События недавние наплывают одно на другое, слепляются в кучу, случившееся смешивается с никогда не бывшим, зато далекое — бегство из школы, исповедальная лодка на берегу, липа на улице Пушкина — видится близким, счастливым — безмерно более, чем представлялось тогда.

*Октябрь 2017 г.*